Екатерина Ивановна ЛУБЯННИКОВА,
научный сотрудник РНБ, Санкт-Петербург

ОБ ОДНОЙ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ ЦВЕТАЕВОЙ

В РГАЛИ хранятся 8 черновых тетрадей Цветаевой (общим объемом более 500 листов, или 1000 страниц), свидетельствующих о литературной работе поэта в 1939—1941 годах. Как известно, по возвращении на родину, Цветаева занималась, главным образом, стихотворными переводами, которые по справедливому замечанию М. Белкиной, уже с декабря 1939 года становятся для нее «хлебом насущным — это единственный источник существования. Выбирать не приходится, она переводит подряд всё, что ей предлагают, не зная языка, по тупым, безграмотным подстрочникам, стихи зачастую несуществующих поэтов, которые внушают ей свою бездарность».

В эти годы Цветаева переводит более чем с десяти языков. Среди переводов встречаются и добротные, и «гениальные» стихи, тогда переводческая работа становится в радость, подтверждением чему и служит выбранная нами тетрадь.

В архивной описи она значится как черновая тетрадь переводов (Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 33), с крайними датами: 1 ноября 1940 г. — 14 апреля 1941 г., и представляет собой общую тетрадь в линейку, в синей обложке (эта тетрадь была привезена Цветаевой из Франции). Все записи выполнены в ней синими чернилами. В тот же период Цветаева параллельно работает в трех других тетрадях.

Характерная особенность черновых тетрадей Цветаевой тех лет состоит в том, что поэт переносит на их страницы и всё напряжение своей внутренней жизни — духовной, интеллектуальной, эмоциональной. Многочисленные записи и пометы, черновики писем и наброски оригинальных стихотворений, содержащиеся в этих тетрадях, отражают всю многогранность цветаевского «бытия» и трагические реалии земной судьбы поэта.

ДАЙ БОГ!

Тетрадь открывается записью:

«Начинаю эту тетрадь 1го ноября 1940 г., в Москве, Покровский бульвар, дом 14/5, квартира 62 (IV подъезд) — очередным переводом, на этот раз какого-то Сна вагонов, приснившегося чеху Ондре (то есть Андрею) Лысогорскому…

Ну́ — Дай Бог!»

Позже в той же тетради Цветаева отметит:

«— С Богом! (или:) — Господи, дай! — так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий, перевод (Франко, например)» *(27 января 1941).*

«Господи! Дай мне последнюю строку!»

«О, Господи! Дай мне последнее слово!»

— просит Цветаева, переводя очередную строфу Бодлера.

А по окончании перевода «Плаванья», после белового текста поэмы, припишет:

«Кончено на Покровском бульваре, дом 14/5, IV подъезд, VI этаж, квартира 62 (воющий лифт) — 7го декабря 1940 г., суббота. — Спасибо. —».

Акт благодарности поэта за созданную вещь.

Отдельного внимания здесь заслуживает и такая деталь, как «воющий лифт».

В другой раз, при датировке записи, она укажет вместе с подробным адресом еще и номер телефона — и пояснит: « — точно чтобы убедить себя в собственной достоверности. Ох, сомневаюсь!» *(4 декабря 1940)*.

ПЕРЕВОДЫ

На страницах тетради можно встретить отзывы Цветаевой о переводимых поэтах, за редким исключением, эти отзывы нелестные:

«Навязали Франко, — а чуяло мое сердце! — как отказывалась.

…И это — после Лермонтова и Гейне и Байрона. Рифмованное «настроение» без единой мысли и единого образа».

Или: «Эти поэты — совсем не связывают, ничем не пользуются, ленивые мозги с случайными мыслями».

Об «Оде к Молодости» Мицкевича: « — общее место с темпераментом — за исключением одного не-общего, но зато в природе не существующего».

Несмотря на низкое качество подлинников, Цветаева трудилась над «поденными переводами» с той же тщательностью и полной отдачей, как и над своими оригинальными произведениями, по числу вариантов ее черновые переводы не уступают ее собственным стихам.

Сознавая, что эти «поденные переводы» — единственный для нее источник заработка, Цветаева вынужденно мирилась с положением дел, с очередной несправедливостью жизни:

«Поляки — так поляки, (теперь) евреи — так евреи, белорусские (евреи) — так белорусские…

…Делаю — хорошо, иных — здòрово!»

Последующее изучение и анализ черновых переводов Цветаевой позволит приблизиться к пониманию творческого метода Цветаевой-переводчицы.

В ряде случаев она формулирует свои переводческие принципы на страницах той же тетради. Например, переводя французский фольклор (любимые ею старинные песенки), она ставит перед собой следующую творческую задачу:

«Это … нужно перевести {дать} не по смыслу, а по звуку, не перевести (сводные картинки!), а — передать из рук одного народа — в руки другого».

БОДЛЕР

Главным достоянием тетради, бесспорно, следует назвать перевод стихотворения, или, как мы привыкли говорить, поэмы Бодлера «Плаванье». — «Мой лучший перевод — …потому что подлинник — лучший», — писала Цветаева о «Плаванье» Ариадне Эфрон в лагерь.

«Бодлеровская» часть тетради (то есть работа над переводом, со множеством интереснейших помет, и сопутствующие записи) наряду с бодлеровскими страницами

предыдущей архивной тетради — благодатный материал для отдельного серьезного исследования.

Итог этой большой работы представлен беловым списком поэмы, или «Попыткой чистовика», как озаглавлено у Цветаевой. В беловом тексте имеется незначительное число вариантов. Любопытно отметить, что название стихотворения «Le Voyage» здесь переведено Цветаевой как «Путешествие».

Это был не только главный, не только самый любимый, но и самый мучительный из ее переводов. Цветаевой приходилось, в буквальном смысле слова, выкраивать часы для работы над ним:

«— О, Господи, как бы мне хотелось наконец кончить Бодлэра, — хорошо кончить! Сегодня у меня один свободный день, одно свободное утро: мои свободные от быта, вечно и ревниво оберегаемых два утренних часа, — и уже в 3 часа – Франкò: очередной юбилей — и опять Бодлэр в сторону» *(5 ноября 1940).*

«Дали еще одного Мицкевича… А пока — польский текст будет завтра — немножко моего многострадального Бодлэра» *(4 декабря 1940).*

В этом кратком обзоре позволим себе остановиться лишь на двух цветаевских «нотабене» к бодлеровскому подлиннику.

Против строк (которые Цветаева переведет как — «Подвижничество, тàк носящее вериги, // Как сибаритство — шёлк и сладострастье — мех»), она сделает помету, характеризующую не только Бодлера, но и своего русского собрата по поэтическому цеху:

«— NB! сколько дивной злобы! У Бодлэра — сладострастие злобы. Единственный русский поэт (к сожалению — не той силы), его внутренне напоминающий, Ходасевич. Младший, слабейший, но брат» *(4 декабря 1940).*

Примечательной записью Цветаева сопроводит строку оригинала:

A l’accent familier nous devinons le spectre…

[подстрочный перевод: "По знакомой речи (звукам) мы узнаем эту тень (призрак)"]

«Совершенно гениальная строка, ею Бодлэр — уже гений… Сила японских однострочий, дальше писать нечего, ибо всё дано, весь тот мир — и весь сей… У Гюго нет таких строк, у Валери’ нет таких строк, ибо — если бы были — только они и были бы. Поэт… Есть ли это — писать стихи? Нет, ибо тогда и Франко — поэт. Поэт — есть быть и мочь, и не было такого случая, что бы был и не мог, ибо быть — и есть мочь, мочь — чтò? — сказать то, что есть, назвать то, что видишь, напеть то, что слышишь, повторить Сущее, ничего не прибавляя и не убавляя» и т. д. *(4 декабря 1940).*

Мир героев Бодлера позволяет Цветаевой на время уйти от «нищенства дней», ввергает ее в родную стихию чувств и страстей. Цитированную нами запись, где в дальнейшем найдется место и «верности дружбы», и «коварству любви», Цветаева закончит словами:

«Написала — как воды напилась. О, Господи, на каком низком уровне, как безлюбовно и бессмысленно я живу. С таким — внутри!»

Одна из записей проливает свет на историю создания перевода. Финал этой истории грустный — любимый перевод остался невостребованным. И как следствие — охлаждение к Вильмонту.

«Было тàк: прошлой зимой мне Рябинина [заведующая редакцией литератур народов СССР Гослитиздата], по великодушию, авансировала тысячу рублей за перевод для французской антологии. Я взяла Voyage Бодлэра. Но так как никто за все эти месяцы (добрых десять) мне ни разу о нем не напомнил, я и делала его исподволь, в свободные от поденных переводов, сроки, для души, и потом читала «друзьям» — тому же Н. Н. [Вильмонту], который в вещь — влюбился и начиная с лета непрерывно ободрял меня и торопил, говоря, что непременно возьмет в Интернациональную Литературу (я, в своей медлительности с Бодлэром, ссылалась на необходимость жить, то есть вырабатывать очередное, тут-то он и заверил меня, что Бодлэр — тоже заработок). Совсем недавно, недели 2 назад, я читала ему всю вещь и он опять сказал, что возьмет. Это я считаю — заказом.

Bon. Оказалось, что это была его — фантазия, его, скажем, далекая мечта, ибо он ничего реального не сделал: даже не известил редакцию, и я со своим Бодлэром (гениальным, как все говорят, а я просто говорю — моим) в пятницу потащилась обратно, унося его за ненадобностью. На мою записку: — Милый Н. Н. Зачем Вы меня ободряли — и даже торопили — с Бодлэром — когда знали, что мне за него ничего не дадут. Уношу его за ненадобностью — он (был в редакции в понедельник) не отозвался — ни звуком.

«Друг?»

По-моему — просто невоспитанный человек.

Чтò мне остается — кроме презрения?» *(26 декабря 1940).*

ТЮРЕМНАЯ ТЕМА

Один из лейтмотивов тетради — «тюремная» тема. Трагедия 1939 года подспудно и явно живет на всем тетрадном пространстве.

Иногда это простые пометы в скобках к датам записей:

«9го декабря 1940 г. (завтра к Сереже в Бутырки и к Але на Кузнецкий)»

«27го февраля 1941 г., четверг (нынче иду в Бутырки)».

Есть и такая датировка, которая мало что скажет непосвященному:

«27го (о, Господи! дай, Господи!) января 1941 г., понедельник».

А жуткий смысл этих слов заключается в том, что Цветаева 10-го и 27-го числа носила передачи для мужа и дочери в приемную НКВД, на Кузнецкий, 24. Когда передачу брали — это означало, что заключенный жив и находится в Москве.

«Господи, самые страшные дни моей жизни, два раза в месяц, уже второй год. К чему и за что?» *(9 декабря 1940 г.)*

«Я приехала к своим — где они? Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответсвенностью…), сосущей тоски за Мура и безумной к нему жалости?..» (*26 декабря 1940).*

«Каждый раз, когда я иду на передачу, на секунду задерживаюсь у цветочного лотка — точно иду в больницу, куда можно — цветы… О, Господи! Аля 27го августа 1939 г. — 1 год 4 месяца 9 дней, Лёве [то есть Сергей Эфрон] — 10го Октября 1939 г. — 1 год 2 месяца 25 дней (три без пяти дней). И — ни звука!

Как Маяковский — Богу: «Бог! — Стучусь. — Глухо. —» (*5 января 1941).*

Каждый такой день оставляет зарубку на сердце поэта, которую можно сравнить лишь с зарубкой самого узника на стене камеры.

Тема «трагедии семьи» самым тесным образом переплетается с темами «страха», «одиночества», «несправедливости жизни», «незаслуженности обиды», «желания смерти»:

«…25го [речь о декабре 1940 года], в среду (о, дура!) отправляюсь за жалким гонораром за французский фольклор. Кассир: — «Но выдача была — вчера. Впрочем — попытайтесь…» Подхожу к окошку, робко. — Да, Вам ничего и нет. (Это + отказ платить не в срок). Иду в Интернациональную…

В Интернациональной Литературе — Мы не виноваты, мы выписали, там не платят… — Где и кто — это там?

Но — как жить? Ведь я живу очередным переводом, вся, с Муром, с метро, с ежедневными хлебом и маслом. Я уже третий, нет — четвертый день ничего не покупаю, — едим запасы (ибо я — умница). Но — папиросы? И, вообще, — чтò это такое? В трудовой стране — с таким тружеником как я!

…Пришла домой и плакала, а Мур ругался — на меня: я, де, не умею устраиваться и так далее… — словом обычная мужская справедливость: отместка за неудачу, нарушенный покой, — отместка потерпевшему. Вечером (того же удачного дня) — явление инспектора радиоприемников, мой не заявлен, будет штраф. Из чего?

— Я не могу смотреть на всё это (глубокое безобразие: и Н. Н. [Вильмонт] с Бодлэром, и там, которое не платит, и этот штраф за T.S.F., от которого я так терплю) не из будущего, ибо я знаю цену — мне данного и мной даваемого. Тверже знаю, чем свое имя.

Это же — издевка. Я, правда, мир — одариваю: от Плаванья Бодлэра до нечаянной шутки — и мне не дают — честное слово — на хлеб, которого я три дня не могу купить.

…Одну секунду, в редакции, я чуть было — на самом краю'! — не сказала, верней не произнесла уже говоримого: — Мне в пятницу нечего нести своим в тюрьму. Мне не дают заработать своим на тюрьму!

Еле остановила. А когда-нибудь — не остановлю.

Тàк еще, то есть таких пустых рук, ни разу не было, за все сроки 10го и 27го, всегда — было, а тут — пустые ладони» *(26 декабря 1940)*.

«Я здесь всё время — под тучей: под смертью. Всё ищу — кàк, примеряю… То — седьмой этаж, нет, вышка гостиницы Москва, но — до чего безобразно! (другим). То — мост, но на мосту (в Москве везде — всегда, нет такой щели, чтоб не) — народ. Внутрь — нечего и мерзость. Есть, конечно, Федрин сук: лес, то есть Крюков больше нет — потому что люстр больше нет. И перекладин больше нет — потому что чердаков (своих) больше нет. «Думали — нищие мы, нету у нас ничего»...

А, главное, всё это — совершенно обратно моей природе: счастливой, довольной — всем. Я и старость приняла — с улыбкой, без всякой жалости. Но как можно — с улыбкой — такое? …Но много уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость»

[28 января 1941].

«Вчера, 10го, у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Тàк, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть просто услышала) я поняла, что я боюсь. Кàк я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слёзы сразу покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала, потому что и в детстве плакала больше от доброты (редкой) ко мне — жизни. Радость? Благодарность? Стой, стой, кажется — знаю: разрез души, оттого что так старается (Сережа, тьфу, тьфу!) — жить, для меня старается и для встречи со мной — знаю, ne se laisse pas aller, tomber… [не дать себе упасть, не пропàсть] о чем так замечательно сказал (впервые) французский авиатор — вспомнила: St. Exupéry [Сент-Экзюпери] — о нежелании, во время катастрофы (гибель авиона или корабля) спасаться: стараться, о смертной охоте, спящей в нас и незнаемой нами, — о том, что спасаются только те, кого кто-нибудь ждет. Вот — это. Еще — раз постарался. Ему — благодарность, над ним (его волей) — умиление, тот продольный разрез души» (*11 февраля 1941).*

Следом Цветаева записывает услышанное в очереди на Кузнецком, 24 — неизвестные нам подробности о камерной жизни Эфрона:

«Узнала: встают в 7 часов, ложатся в 10 часов, нары, сенники, одеял нет — кто — чем, посредине стол, есть место для хождения, на столе: шахматы, шашки, домино (записать рифму к шахматам: смысловую, здесь — боюсь), всё в складчину (рассказчица: «хорошо это, значит не только своему носишь, но — всем». NB! Святая), играют на сахар и масло и папиросы. Под потолком — фортка. Проветривают 20 минут, пока гуляют. Песочные часы (это единственное, что я знала раньше). «Скляночка такая с перехватом, песок сыпется. Как высыпется весь: — Граждане, домой!» (Рассказ чиновника. 10 лет назад сам сидел, теперь — сын).

Еще: выбирают старшину [имеется в виду староста по камере], — Лёве, конечно. Почему мы все: Лев, Аля, Мур, я, — так выделяемся, где бы ни были? Всегда мы, нас, при абсолютной скромности, у нас с Муром — даже дикости (*11 февраля 1941).*

«Я знаю только одну верность — в беде. Она и была моя верность себе» (*14 февраля 1941).*

«— Мне все говорят: — Забудьте! Забудьте совсем! — За какое животное они меня принимают? И даже — за какое именно? Потому что собаки — помнят: мой савойский Подсэм меня узнал — семь лет спустя, и отчаянием восторга, стонами, почти — слезами, смутил случайных свидетелей — опустили глаза…

Сколько раз я уже боялась — дò смерти! …Сколько ужасных примет, ужасных, вещих, зловещих снов, и всё-таки — каждый раз умираю. Господи, пронеси еще нынешнюю передачу!» *(27 февраля 1941).*

ПИСЬМА

Среди записей Цветаевой можно выделить несколько эпистолярных набросков. Адресатов трое — Николай Вильмонт, Татьяна Кванина и Арсений Тарковский. Оригинальные тексты этих писем неизвестны.

Например, 4 декабря 1940 г. — набросок письма к Татьяне Кваниной:

«Моя дорогая и милая Таня. Мне мало — так. Но — скажу Вам это иначе. — У меня есть сказка: Мòлодец. Барин едет по снегам и видит на перекрестке цветок. Он вырывает его, запихивает в шубу и увозит.

Обдувает, стряхивает

Снег с листа,

Сел, в полу запихивает…

— Гэй, верста!

Так и я хотела бы. Глупо говорить женщине, что она — цветок, но какая это блаженная глупость. Умнее ведь и Гёте ничего не сказал.

…В Вас моя любимая (в женщине) смесь — смелость и робость. То, что я так бесконечно любила в Сонечке».

ТАРКОВСКИЙ

С Арсением Тарковским связано несколько записей в марте — апреле 1941 года. Неизвестные ранее факты позволяют по-новому, или по-иному взглянуть на ставший хрестоматийным сюжет «о встрече двух поэтов».

Среди записей — черновые наброски оригинальных стихотворений Цветаевой, обращенных к Тарковскому, и «попытка чистовика» ее известного стихотворения без заглавия, с эпиграфом — «Я стол накрыл на шестерых…». Под беловым текстом — помета:

«Москва, Покровский бульвар, дом 14/5, 6ой этаж, IV подъезд, квартира 62

6го марта 1941 г.— ответ на стихи А. Т., которые слышала в воскресенье — и которые всё еще слышу —».

В беловом тексте имеются варианты отдельных слов и строки. Стихотворение было опубликовано по данному источнику в редакции, которую предпочел публикатор (Елена Коркина).

Следует обратить внимание на то, что в одном из случаев Цветаева записывает эпиграф: «Я стол накрыл на четверых…», а потом исправляет последнее слово на: «шестерых». Подобная описка вряд ли возможна, ведь речь идет о «попытке чистовика», то есть об уже законченном стихотворении. Мы склонны принять это за сознательную переделку. Данное наблюдение лишь укрепляет версию о том, что первоначально стихи Тарковского начинались строкой «Стол накрыт на четверых…», которая позднее была изменена автором.

Почти все биографические исследования о взаимоотношениях Цветаевой и Тарковского опираются на два мемуарных источника:

1) Воспоминания Тарковского о том, что «стихотворение Цветаевой появилось уже после ее смерти… Для меня это было как голос из гроба».

2) Свидетельство переводчицы Нины Яковлевой о встрече поэтов на книжном базаре весной 1941 года: «Мне нездоровилось. Марина пошла одна. Она вернулась вне себя от гнева. Поэт был не один. Он не подошел к ней. Даже не поклонился. Будто даже знакомы не были... Это была их последняя встреча».

Сегодня в нашем распоряжении имеется дневниковая запись Георгия Эфрона, сделанная им на следующий день после посещения того самого книжного базара: «Вчера был в Клубе писателей — там был "Книжный базар". Познакомился с этой маминой

Ниной Герасимовной [речь идет о Яковлевой] — пожилой красящейся дамой. На этом базаре была масса народу… бегали официанты с подносами, лаял джаз — но, в общем, ничего… Сидели в Клубе до двух с половиной часов».

Как следует из этой записи, именно там, на книжном базаре, Мур и познакомился с будущим автором недостоверного мемуара о последней встрече Цветаевой и Тарковского.

А вот как сама Цветаева рассказывает о своем «разрыве» с Тарковским.

Запись от 2 апреля 1941 года, в скобках помета к дате: «Всё уже давно кончено».

«Этого письма он не получил [речь идет о предшествовавшем записи черновом наброске письма] — потому что я его не написала. И этих стихов он не получил — не успел — только раз слышал — в изустном чтении. Потом (да, есть «потом») — в последний раз — да, есть последний раз! — как-то рассеянно, другим занятый (мною) сказал: — «А я бы всё-таки хотел иметь эти стихи…» Одно из последних слов: — Ах, хоть бы Вы мне сегодня приснились! —

Был у меня дважды, на третий не пришел — прождала его тщетно: сначала звонка — сначала до 12 часов дня — потом до 1 часа — потом до 2 часов — и так до вечера, а вечером стала ждать — его, и никогда (да, есть уже никогда) — ничего. Я всё поняла. Когда я спросила: — У Вас есть семья (подразумевая: жена) — как у Вас с ней? — он, зажмурясь и исказив брови: — Ах! Не надо!

Всё — ясно.

Слабый человек, не сумевший себя поставить, поставивший себя мужем, а не поэтом. Но — какое доверие! Как нужно меня знать, знать мое знание — всего, чтобы тàк — на чужой глаз — наплевать: заставить ждать, не извиниться (хотя бы внешне), не объясниться. Просто: было — не было. Но я не верю. Знаю, что было — и есть. Знаю еще — но об этом есть строки.

Была еще одна встреча: на книжном базаре. — Ах, Вы здесь? — Подбегал, отбегал, подседал, отседал, — «устал, иду спать» (идем спать). Жена: — Мы с 12 часов нынче ушли из дому: гуляли, потом пошли в Госиздат, потом опять гуляли, потом — сюда»… (Гуляли-гуляли — да и устали, как я, трехлетняя: — Сидела-сидела, да и устала».)

Что ж! Я всегда предпочитала присутствие в отсутствии — обратному, а это — моя роль: сна. Не даром просил: — Приснитесь!

Это — могу.

Больно? Нет. Слабо — больно. Боль куда слабее, чем тà радость от него. — Привыкла — за жизнь. — И — ему больнее. Ведь òн, а не я».

К Тарковскому относится и последующая «Попытка посвящения четырехстишия»:

Чем подаянья просить друг у друга:
Часа, минуты, ресничного мига —
Друг! отрешимся от бренного вздрога:
Будем друзьями: забудем друг друга!

Последняя запись о нем заканчивается фразой:

«А вот егò стихи — ко мне, принес в последний раз, вместе с моей поэмой Горы — чудно переплетенной:» (Цветаева ставит двоеточие, но стихи Тарковского в тетрадь не записывает).

Возможно, Цветаева имела в виду его стихотворение «Всё наяву связалось — воздух самый…», датированное 16 марта 1941 года.

По свидетельству Тарковского, последняя его встреча с Цветаевой состоялась во время войны, они столкнулись на Арбатской площади и затем вместе укрылись в бомбоубежище.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОЭТА И СУДЬБА

Рассказывая об этой цветаевской тетради, нельзя пройти мимо важнейшей темы предназначения поэта и судьбы. В тетради можно найти ответ и на пресловутый вопрос: что важнее — быть поэтом или человеком? — Цветаева сумела быть и тем, и другим.

«Пока я буду переводить других — кто будет писать мое? меня?

Когда меня спрашивают: Почему Вы не пишете? Как Вы можете не писать? — я задыхаюсь от негодования. — Какие — стихи? Я всю жизнь писала — от избытка чувств. Сейчас у меня избыток — каких чувств? Обиды. Горечи. Одиночества. Страха. В какую тетрадь — писать такие стихи?? И еще — стихи (сам факт их, сам — акт их) для меня всегда были — радостью: освобождением и — даже странно сказать — роскошью… Как я сейчас могу — когда мои…

Оттого и книга безразлична, которая, кстати аттестована формализмом. Если бы я этой книгой могла спасти тех — о, книга была бы, хотя бы из стихов 1912 г. (можно и раньше!!) — и из стихов 1907 г. (я начала — в пеленках) — но тàк… — слава? Она мне не нужна…

Довольно. Мне 48 лет, я прожила рабочую жизнь, другому бы — непосильную, совместив семью (всю черную любовную работу: работала — любя) с писанием.

Да я и сейчас пишу — чужое. Неплохо. Чужое хорошее — совсем хорошо *(5 января 1941).*

«Еще одно: про мою пресловутую гордыню. Одаренную всеми дарами — дочь неба — бросили с седьмого из них (небес) в самую базарную гущу в живой комок хозяек и служанок. И в ответ на все мои усилия:

— Разве так продают? — Я не умею продавать. — Разве так покупают? — Я не умею покупать. — Разве тàк метут?.. — Я нè… Почем я знаю кàк метут? У нас там не мели… — Где — у вас? — В Эмпиреях.

Ведь я на этот возглас — вызвана. Это моя последняя оборона…» (*24 января 1941).*

На этом позвольте завершить наш небольшой обзор одной из черновых тетрадей Цветаевой. В нашу ближайшую задачу входит полная (посильная) расшифровка этой тетради и подготовка ее к изданию.

Спасибо за внимание.